

О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ

<отрывок; обзор русской литературы XVIII века>

...Европеизированная русская литература начинает приобретать известное значение лишь во времена Екатерины II. До ее царствования мы видим лишь подготовительную работу; язык приспособляется к новым условиям существования, он кишит немецкими и латинскими словами; дух подражания овладевает всем до такой степени, что в наш метрический и звучный язык пытаются ввести силлабическое стихосложение. Отделавшись от этих излишеств, язык начал осваивать лавину иностранных слов и становится более естественным и соответствующим духу нации. Первым русским, который мастерски владел сложившимся таким образом языком, был Ломоносов. Как по своему энциклопедизму, так и по легкости восприятия этот знаменитый ученый был типом русского человека. Он писал по-русски, по-немецки и по-латыни. Он был горняком, химиком, поэтом, филологом, физиком, астрономом и историком. Одновременно он писал метеорологическое исследование об электричестве и другое—о пришествии варягов на Русь, в ответ историографу Мюллеру,¹ что не мешало ему закончить свои торжественные оды и дидактические поэмы. Его ясный ум, полный беспокойного желания все понять, оставлял один предмет, чтобы овладеть другим, с удивительной легкостью постигая его.

Цивилизация, начинавшая расцветать под эгидой правительства, все еще не покидала ступенек трона, восхищаясь Петром Великим и искренно преклоняясь перед любым государем. Правительство продолжало идти во главе цивилизации. Эта тесная близость литературы и правительства стала еще более явной во времена Екатерины II. У нее свой поэт, поэт большого таланта; полный восторженной любви, он пишет ей послания, оды, гимны и сатиры, он на коленях перед нею, он у ее ног, но он вовсе не холоп, не раб. Державин не боится Екатерины, он шутит с нею, называет ее «Фелицей» и «киргиз-кайсацкою царицей». Порою муза его находит

слова, совсем иные, нежели те, в которых раб воспекает своего господина.

Однако этой апологетической поэзией, при всей ее искренности, при всей красоте ее пластичного языка, наслаждался и восхищался лишь узкий круг духовенства и ученых. Высшее общество ничего не читало по-русски, низшее — вообще ничего не читало. Первым русским произведением, снискавшим огромную популярность, было не послание, обращенное к императрице, не ода, на которую вдохновили поэта бесчеловечные опустошения и кровопролитные победы Суворова, а комедия, едкая сатира на провинциальных дворянчиков.² Тогда как Державин сквозь ореол славы, окружавшей трон, видел одну лишь императрицу, Фонвизин, ум сатирический, видел изнанку вещей; он горько смеялся над этим полуварварским обществом, над его потугами на цивилизованность. В произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией. В этой иронии, в этом бичевании, не щадящих ничего, даже личность самого автора, мы находим какую-то радость мести, злорадное утешение; этим смехом мы порываем связь, существующую между нами и теми амфибиями, которые, не умея ни сохранить свое варварское состояние, ни усвоить цивилизацию, только одни и удерживаются на официальной поверхности русского общества. Неутомимый протест неотступно преследовал эту аномалию. Он был горячим, беспрестанным.

Анализ общественной патологии определил преобладающий характер современной литературы. То было новое отрицание существующего порядка вещей, которое вырвалось, наперекор монаршей воле, из глубины пробудившегося сознания, — крик ужаса каждого молодого поколения, опасавшегося, что его могут смешать с этими выродками.

В XVIII веке русская литература, по сути дела, являлась лишь благородным занятием нескольких умных людей и не оказывала никакого влияния на общество. Серьезное начало этому влиянию было положено франкмасонами, сразу придавшими другой характер литературному дилетантизму. Франкмасонство широко распространилось в России к концу царствования Екатерины II. Глава его, Новиков, был одной из тех великих личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму, — одним из тех проводников тайных идей, чей подвиг становится известным лишь в минуту торжества этих идей. По профессии Новиков был типографом; во многих городах он основал книжные лавки и школы, он же издавал первый русский журнал.³ Он заказывал переводы и печатал их за свой счет. Именно таким образом и появились в его время переводы

«Духа законов», «Эмиля» и различных статей из «Энциклопедии», — произведения, которые современная цензура, конечно не позволила бы напечатать. Во всех этих предприятиях Новиков пользовался большой поддержкой франкмасонов, будучи великим мастером масонской ложи. Каким огромным делом оказалась эта смелая мысль — объединить во имя нравственного интереса в братскую семью все, что есть умственно зрелого, от крупного сановника империи, как князь Лопухин, до бедного школьного учителя и уездного лекаря!

Императрица Екатерина велела заточить Новикова в петербургскую крепость, а затем сослала. Это произошло в последние годы ее царствования, когда характер Екатерины стал портиться. С Потемкиным исчезает поэзия фаворитизма, роскошные, изысканные наслаждения сменяются грубым распутством. Искрящиеся остроумием званые вечера в Эрмитаже уступают место диким оргиям Зоричей. Тем временем французская революция приближалась к своему апогею. Громы революции тревожили сон монархов и на Дунае, и на Неве. С наступлением старости Екатерина становилась все беспокойней и подозрительней, даже по отношению к собственному сыну. Она смотрела с недоверием на усиливавшееся помимо ее воли франкмасонство; много говорили о том участии, которое иллюминаты и мартинисты приняли в французской революции, а среди прочих слухов дошло до нее и то, что великий князь Павел был введен Новиковым в общество франкмасонов. Десятью годами раньше Екатерина послала бы за Новиковым и увидела бы, что он вовсе не участник тайного заговора против династии, но теперь она предпочла покарать его, а не разговаривать с ним.

Этот неутомимый человек до своего падения помог сложиться последнему великому писателю той эпохи — Карамзину. Влияние последнего на литературу можно сравнить с влиянием Екатерины на общество; он сделал литературу гуманною. В нем было что-то от Сен-Реаля, Флориана и Ансильона — точка зрения философская и нравственная, филантропические фразы, всегда исторгаемые чужим несчастьем слезы, отвращение ко всякому злоупотреблению силой, большая любовь к просвещению и патриотизм, хотя и несколько риторический, — но все без единства, без руководящей мысли, без какого-либо глубокого убеждения. В этом молодом литераторе, которого окружала среда мелкого честолюбия и грубого материализма, чувствовалось нечто независимое и чистое. Карамзин был первым русским литератором, которого читали дамы.

То, что наши первые писатели были светскими людьми, является большим преимуществом русской литературы. Они ввели в нее известное изящество, присущее хорошему тону, воздержанность в словах, благородство образов, отличающие

беседу людей воспитанных. Грубость и вульгарность, встречающиеся порой в немецкой литературе, никогда не проникали в русскую книгу.

Великое творение Карамзина, памятник, воздвигнутый им для потомства,— это двенадцать томов русской истории. Его история, над которой он добросовестно работал полжизни и разбор которой не входит в наши планы, весьма содействовала обращению умов к изучению отечества. Если подумать о хаосе, царившем в русской истории до Карамзина, и о том труде, которого ему стоило в нем разобраться и дать ясное и правдивое изложение предмета, то станет понятно, как несправедливо было бы умолчать о его заслугах.

Но Карамзину не хватало того саркастического элемента, который от Фонвизина перешел к Крылову и даже к Дмитриеву — задушевному другу Карамзина. В мягком и доброжелательном Карамзине было что-то немецкое. Можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадет в императорские сеги, как попался позже поэт Жуковский.

История России сблизила Карамзина с Александром. Он читал ему *дерзостные* страницы, в которых клеймил тиранию Ивана Грозного и возлагал иммортели на могилу Новгородской республики. Александр слушал его с вниманием и волнением и тихонько пожимал руку историографа. Александр был слишком хорошо воспитан, чтобы одобрять Ивана, который нередко приказывал распиливать своих врагов надвое, и чтобы не повздыхать над участью Новгорода, хотя отлично знал, что граф Аракчеев уже вводил там военные поселения. Карамзина, охваченного еще большим волнением, пленяла очаровательная доброта императора. Но к чему же привели историка его дерзостные страницы, его возмущение, его сетования? Что же узнал он из русской истории, к какому выводу пришел в результате своих исследований,— он, написавший в предисловии к своему труду, что история прошлого есть поручение будущему? Он почерпнул в ней лишь одну идею: «Народы дикие любят свободу и независимость, народы цивилизованные — порядок и спокойствие», он сделал лишь один вывод: «осуществление идеи абсолютизма», развитие которой, прослеженное им от Мономаха до Романовых, преисполняет его восторгом.

Идея великого самодержавия — это идея великого порабощения. Можно ли представить себе, чтобы шестидесятиmillionный народ существовал лишь затем, чтобы сделать реальностью... абсолютное рабство?

Карамзин умер, пользуясь до конца своей жизни расположением Николая.

Как видит читатель, тот период, который мы обозрели,— лишь отрочество цивилизации и русской литературы. Наука

процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами. Революционных идей почти не встречалось, — великой революционной идеей все еще была реформа Петра. Но власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом. Их союз даже в XVIII столетии удивителен. Но могло ли быть иначе, если наследник царей, династ, преемник Алексея, наконец, самодержец всея Руси, Белой и Червонной, Великой и Малой, Петр I, был и до времени явившимся якобинцем и революционером-террористом?